А. А. Пауткин

ДРЕВНЕРУССКАЯ КНИЖНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А. Н. ТОЛСТОГО

(К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ И НОВОЙ ЛИТЕРАТУР)

В 1910 г. А. Н. Толстой заметил: «Россия, кажется, единственная страна, где сохранилась еще живая старина» (10, 12)[1]. До недавнего времени это наблюдение оставалось во многом актуальным. Обращение русских писателей Нового времени к историческому прошлому всегда носило не только архивный характер – оно было гораздо более сложным и многоплановым. Но, тем не менее, основным источником сведений, конечно, являлись памятники средневековой книжности, поэтому поиск, определение примет этой старины, реконструируемой писателем Нового времени, всегда интересны медиевисту.

В 70–80-е гг. XX в. активно велась разработка вопросов взаимосвязей литературы и фольклора[2]. Сегодня ощутима потребность в подобном комплексном рассмотрении истории обращений писателей XVIII–XX вв. к древней книжности. Тут есть на что опереться как в медиевистике, так и в работах, посвященных литературе Нового времени. Изучение закономерностей рецепции древнерусских произведений, взаимодействия текстов, созданных в различные эпохи, – насущная проблема, выходящая за рамки медиевистики. Здесь возможно сотрудничество филологов с историками, философами и культурологами. Ведь рецепция памятников прошлого неоднородна, обусловлена многими факторами, не сводимыми к простой увлеченности того или иного автора наследием допетровской Руси. Влияние идеологии, политики, общественных представлений и запросов на восприятие прошлого особенно заметно в минувшем столетии. Но все это, хотя и в менее резких формах, можно наблюдать также в литературе и культуре XVIII–XIX вв. Обращения писателей к конкретным периодам, личностям, жанрам, отдельным текстам прошлого имеют свою динамику и цикличность. Социальные потрясения нередко актуализировали отдельные элементы

средневековой жанровой системы, оживляли интерес к конкретным памятникам.

Художественное и научное освоение Древней Руси никогда не было изолировано друг от друга. Исследования, дискуссии, публикации памятников нередко стимулировали литературное творчество. Состояние науки в тот или иной период, развитие отечественной медиевистики – еще один аспект, который нельзя не учитывать при комплексном изучении данной проблемы. Недаром каждое столетие дает примеры своеобразного «совмещения» в одном лице ученого и литератора (например, Д. Л. Мордовцев, Д. М. Балашов и др.).

Создать историю освоения писателями XVIII–XX вв. богатейшего книжного наследия Древней Руси – значит решить и такие специфические задачи, как раскрытие потаенных источников, поиск возможных «протографов», путей проникновения «готового слова» Средневековья в авторский текст. Это медиевистическое источниковедение литературы Нового времени. Безусловно, столь обширный по материалу труд под силу лишь коллективу единомышленников.

На огромном пространстве художественного освоения древнерусской литературы имеются территории уже достаточно обследованные. Но есть и малоизвестные. К первым может быть отнесена литература XVIII в., представшая в ином качестве благодаря труду Г. Н. Моисеевой[3], а также воздействие «Слова о полку Игореве» на творчество различных авторов. Немало конкретных наблюдений было сделано и в связи с проблемами рецепции средневековых памятников классиками XIX в. А вот обращения писателей минувшего столетия к древней книжности долгое время не становились предметом специального внимания, публикации такого рода были редки. Чаще оценку соответствия того или иного произведения источникам давали историки[4].

Древняя Русь с ее культурой, книжной и фольклорной традицией разнообразно представлена в творчестве А. Н. Толстого. Это касается не только произведений исторического жанра. Интерес писателя к прошлому был глубок и постоянен. Поэтому его творчество должно занять одно из важных мест в исследовании, способном обобщить формы новой жизни средневековых текстов после Древней Руси. У Толстого были свои любимые эпохи, о чем свидетельствуют и произведения, и неоднократные высказывания самого писателя. Прежде всего, это XVI в. и конец XVII – начало XVIII в., то есть время правле-

ния Ивана IV и Петра. Причем тексты XVII столетия открыли писателю, по его признаниям, новые языковые возможности. Вот одно из них, относящееся к 1943 г. и звучащее несколько неожиданно: «Все статьи, которые я писал в последнее время в "Правде", писаны языком XVII в.» (10, 577). В то же время «бунташный век» для него – некая точка отсчета, а подчас и синоним стагнации («Года три назад здесь был еще семнадцатый век» – 10, 55). Вспомним, что в пору вступления Толстого в литературу именно XVII в. приобрел в нашем искусстве статус классической старины. Об устойчивом интересе к этому времени говорит и написанная еще в Берлине «Повесть смутного времени (Из рукописной книги князя Туренева)», стилизованная под сочинения о Смуте (ср. с Летописной книгой князя И. М. Катырева-Ростовского).

В учете и использовании свидетельств, относящихся к названным эпохам, писатель достиг высокого совершенства. Он стремился после скрупулезного изучения древних текстов «охватить» материал, «систематизировать», «выжать из него ценное и главное – отвлечься от него, превратить его в память» (10, 132). Получается, что Толстого, в отличие, например, от другого знатока отечественных и европейских древностей А. П. Ладинского, влекла именно «осень» русского Средневековья. Однако это не означает полного забвения более ранних источников.

В новой литературе заметны периоды повышенного интереса к эпохе Ивана Грозного. Они в значительной мере обусловлены внешними причинами. Это – 60-е гг. XIX в. и 30–40-е гг. XX в. Оценки деятельности первого московского царя тут диаметрально противоположны. После цензурных послаблений времени Александра II появились роман, баллады, драма А. К. Толстого. Особенно многочисленны исторические драмы (И. И. Лажечников, Л. А. Мей, Д. В. Аверкиев, А. Н. Островский)[5]. У всех авторов Иван изображался жестоким деспотом. Создавая свой образ правителя-тирана, писатели пореформенной поры опирались на материалы IX тома «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзина, который так говорил об Иване: «Характер Иоанна, героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка»[6]. Создатель драматической повести «Иван Грозный» дал свой ответ на эту загадку. Является ли такая трактовка историей, не подтверждаемой историей? В какой мере Толстой был независим в своих прочтениях

документов? Источниковедческий подход избавляет от необходимости искать ответы на эти вопросы. Ведь еще Н. М. Карамзин замечал, что «добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти»[7]. Правда, он также оговаривался: «История злопамятнее народа»[8]. Нам важно отметить: Толстой обладал гораздо более богатыми по сравнению с писателями XIX в. возможностями в плане привлечения опубликованных материалов XVI в. Стоит вспомнить и то, что у толстовского восприятия фигуры Ивана Грозного, а также у художественного сопряжения двух эпох был литературный предшественник. А. Н. Майков, знаток старины и переводчик «Слова о полку Игореве», в стихотворении «У гроба Грозного» (1887) утверждал: народный плач о грозном царе будет громче, «чем этот шип подземный боярской клеветы и злобы иноземной...» Тут же прямо связывались дела Ивана и Петра: «И труд был завершен уж подвигом Петра»[9]. Так и кажется, что написаны эти строки на пятьдесят лет позже. Как знать, не навеяны ли исторические пристрастия Толстого юношескими впечатлениями от стихов Майкова?

Как бы там ни было, но судя по всему, именно знакомство с источниками отвратило писателя от мысли о драматической трилогии (изложение событий доведено до 1571 г.). Увлеченность временем, человеком «бешеного темперамента» (10, 263) вступали в противоречие с документальными свидетельствами, ведь Толстому была доступна не только переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским, сочинения Ивана Пересветова или послания царя Василию Грязному. Все это реминисценциями и цитатами присутствует в «Орле и орлице» и пьесе «Трудные годы». Писателю уже хорошо известна опубликованная в «Русской исторической библиотеке» (т. XXXI, 1914) «История о великом государе Московском» Андрея Курбского. Это сочинение опального боярина, созданное для европейского читателя, постепенно из рассказа о правителе превращалось в удручающий мартиролог его жертв.

Работа драматурга тут в чем-то сродни труду древних писцов, компилировавших различные виды текстов, помещавших рядом документ и легенду, факт и вымысел. Так создавался идеальный образ правителя. Возможна ли вторая «волна» литературной идеализации? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Толстого занимают тексты, раздвигающие границы актового материала, доносящие живое чувство, эмоцию, самобытность речи. Сейчас настораживает утверждение писа-

теля о том, как еще в 1917 г. им были обнаружены россыпи «алмазов литературной русской речи» (10, 82) в записях «премудрых дьяков – наших словесников-примитивистов» (10, 95), которые фиксировали в «наиболее сжатой и красочной форме наиболее точно рассказ пытаемого» (10, 83). Так неожиданно акты «Слова и дела» оказываются использованными новой литературой как тексты, лишенные каноничности.

Если присмотреться к библиографии исследований об эпохе Ивана Грозного, к публикациям текстов, с ним связанных, то можно заметить некую лакуну между началом 20-х и рубежом 40-х–50-х гг. Компенсируется это научное молчание средствами литературы и кино. Но качество этих произведений неоднозначно. Достаточно вспомнить трилогию В. И. Костылева и фильм С. Эйзенштейна, появившиеся практически одновременно.

Работая над «Петром Первым», Толстой, конечно, не мог обойтись без сочинений старообрядцев, и прежде всего писаний Аввакума. Повышенное внимание литераторов к текстам «огнепального» протопопа имеет свою цикличность. С одной стороны, катализатором выступала наука, а с другой – общественные потрясения. Так, после первой публикации «Жития», осуществленной Н. С. Тихонравовым в 1862 г., выхода «Материалов для истории раскола за первое время его существования» Н. И. Субботина наступила пора изучения старообрядчества, а вместе с ним и художественного наследия Древней Руси вообще. Эти годы ознаменованы разнообразными литературными откликами, в том числе появлением произведений Д. Л. Мордовцева. События революции по-новому актуализировали этот материал. Наиболее ярко он воплотился в поэмах М. Волошина. В 30–40-е гг. голос Аввакума зазвучал со страниц произведений, созданных не только в СССР, но и писателями зарубежья, например в 1936–1937 гг. в парижской газете «Возрождение» печатает свой цикл «Московия – страна отцов» И. С. Лукаш. В основе очерков «Потерянное слово» и «Боярыня Морозова» лежат соответственно «Житие» Аввакума и «Повесть о боярыне Морозовой». Тут жертвы революции, репрессированные, представители эмиграции уподобляются протопопу, пошедшему на костер («Русачки бедные рады, что мучителя дождались»). Никон расколол «народное единодушие». По мысли Лукаша, Аввакум «знал то слово о Руси, какое потом мы все утеряли»[10]. Он «уже провидел за Никоном кнут и дыбы Петра»[11]. Лукаш цитирует тот же самый фрагмент

«Жития», который приводил в своем докладе на Первом съезде писателей Толстой. Это – знаменитый диалог Аввакума и исстрадавшейся протопопицы («Долго ли муки сея, протопоп, будет?» – «Марковна, до самыя смерти»).

Ближайший к нам период актуализации имени Аввакума в литературе – 70–80-е гг., когда появились книги Д. Жукова, Ю. Нагибина, В. Бахревского. Последний в своих романах («Никон» и «Тишайший») запечатлел годы, не затронутые в романе Мордовцева «Великий раскол».

Писания Аввакума в 30–40-е гг. оказались востребованными по-разному, как допускающие неоднозначную интерпретацию. Почти одновременно в Москве и Париже публикуется «Житие». Трагическим пафосом дорожили писатели зарубежья, придавая «вяканью» протопопа значение прорицания будущей судьбы России, к которому никто не прислушался. Оптимизм, непреклонную волю и русскую самодостаточность воплощали писания бунтаря в их советском изводе. Разве не дал повода для такого прочтения сам Аввакум: «Да што много говорить? Аще бы не были борцы, не бы даны быша венцы. Кому охота венчатца, не по што ходить в Перъсиду, а то дома Вавилон»[12].

Главная ценность для Толстого-романиста, безусловно, язык Аввакума. Ласково-разговорные интонации протопоповых писаний к единомышленникам читатель «Петра Первого» улавливает в речи Андрея Денисова, старца Нектария. Можно заметить и прямые цитаты из посланий. Ими укрепляет свой дух Андрей Голиков.

Писатель сумел передать атмосферу далеких северных скитов, делая акцент на жестокосердии лицемерных проповедников самосожжения. Этим страницам романа мог бы позавидовать любой обличитель раскола конца XVII в. Но где почерпнул Толстой разнообразные сведения о гарях? Скорее всего, образ старца Нектария и его деяний навеян полемическим сочинением инока Евфросина. Старообрядец Евфросин в своем «Отразительном писании о новоизобретенном пути самоубийственных смертей» (1691) отстаивал ценность человеческой жизни, разоблачал сторонников самосожжения, натуралистически показывая ужасы «огненной смерти». Среди упоминаемых в этой книге лживых «пророков» можно найти и пытавшихся в последний момент бежать из огня. Сочинение Евфросина было опубликовано Хрисанфом Лопаревым в 1895 г[13].

Вновь пригодилось аввакумово слово в августе 1942 г., в самый критический момент войны. Теперь оно уже не связано

с уходящим миром дремучей старины. С его помощью решается вопрос о природе героизма русского человека, «не знающего часто даже краев возможностей своих» (10, 627). Рассказ «Странная история», напечатанный впервые в «Красной звезде» и включенный в цикл «Рассказы Ивана Сударева», повествует о подвиге репрессированного старовера Петра Филипповича Горшкова, назначенного немцами бургомистром. Вот что говорит партизанам о своем решении помогать им в борьбе с врагом этот обиженный довоенной властью человек: «В городе Пустозерске, что неподалече от нашего лагеря, при царе Алексее Михайловиче сидел в яме протопоп Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать: с отрезанным языком, сидя в яме, писал послания русскому народу, молил его жить по правде и стоять за правду, даже и до смерти... Творения Аввакума прочел, – тогда была одна правда, сегодня – другая, но – правда... А правда есть – русская земля...» (10, 624). Весь публицистический пафос рассказа основан на тексте, пришедшем из многовекового прошлого. Трагическая судьба жены и детей героя напоминают страдания близких Аввакума. Даже казнь Петра Филипповича заставляет вспомнить истязания, которым подвергались монахи Соловецкого монастыря, не принявшие никоновской реформы (см. «Повесть о Соловецком восстании»).

Более глубокая древность представлена скромнее. Она явлена в эпиграфах (например, из «Слова о полку Игореве», «Повести временных лет»), апокрифической многозначности названия романа о гражданской войне. «Скорбный путь хождения по мукам» упомянут и в «Открытом письме» Н. В. Чайковскому (10, 34). Час «Слова о полку Игореве» пробьет в годы войны. В публицистике этих лет писатель семь раз будет обращаться к памятнику XII в. Да и во второй картине пьесы «Трудные годы» Иван Грозный заговорит об опричниках словами Буй-Тура Всеволода: «Сабли у них изострены. Кони под ними пляшут» (9, 681).

Но не только прямую цитату, образ, мотив или «достраивание» документа можно встретить в произведениях Толстого. Есть и неявные, скрытые переклички и сближения. Здесь мы ступаем на довольно зыбкую почву установления средневекового «протографа». Среди множества героев романа «Хождение по мукам» есть образ, который следует отнести к «житийно-идиллическому сверхтипу»[14]. Этот персонаж возникает в самом начале «Хмурого утра», а затем не раз появляется рядом

с Дашей. Это распоп, Кузьма Кузьмич Нефедов. Лукавый, мудрый и обаятельный балагур добровольно берет на себя заботы о случайно встреченной им молодой женщине. Образ Кузьмы Кузьмича едва заметными нитями связан с памятником начала XIII в. – «Молением Даниила Заточника», постепенно насыщавшимся в позднейших редакциях фольклорными мотивами. В 1932 г. «Моление» было опубликовано Н.Н. Зарубиным, предложившим также обзор дореволюционной литературы и публикаций[15]. По оценке Б.А. Рыбакова, его работа «оживила интерес к имени Даниила Заточника»[16]. Вскоре стали выходить статьи, в которых предпринимались попытки определить социальный статус Даниила. Разумеется, никто не усматривал в Заточнике духовное лицо. Американские медиевисты Х. Бирнбаум и Р. Романчук предприняли в недавнее время еще одну попытку ответить на вопрос: кем был загадочный Даниил Заточник? По их мнению, в Заточнике следует видеть собирательный образ, а «Моление» как «назидательная антология», имеющая явно учительную направленность, могло возникнуть только в монашеской среде[17].

Толстой еще в 1934 г. заявлял о своих планах завершения трилогии, хотя вплотную приступил к работе над романом в 1939 г. Его герой говорит о себе: «Был попом, за вольнодумство расстрижен и заточен в монастырь» (6, 9); «Революция освободила меня из монастырской тюрьмы и не слишком ласково швырнула в жизнь» (6, 12). Память этого человека загромождали «бесполезные знания» (6, 12). Монолог, обращенный к красноармейцам, допрашивающим Нефедова, поразительно напоминает прошение Заточника, адресованное князю: «Ведь это вселенная ходит перед вами в драной бекеше и опорках» (6, 17) (ср.: «Нишь бо а мудръ, яко злато в кальне сосуде» или «лучше ми нога своя видети в лыченицы в дому твоем...»[18]). Подобно Заточнику, Кузьма Кузьмич отстаивает ценность разума, предлагая красным свои способности: «Поверили – сильные люди всегда просты... Ну да вам нужен смышленый человек? Революции он нужен, нужен... Вот вам – я» (6, 20) (ср.: «Княже мои господине!.. Прими милостию своею»).

Внештатный полковой писарь не скрывает своей робости. Он, как Заточник, умен, но не смел: «Как начнут строчить из пулемета, да вылетят всадники с клинками – тут уж не до философии» (6, 125) (ср.: «Умен муж не вельми на рати храбръ, но крепокъ в замыслех»). Кузьма предлагает свой ум и доброту, производя «честный обмен философских и моральных идей на пред-

меты питания» (6, 353) (ср.: «Иже бо в печали кто мужа призрить, то аки водою студеною напоит...»). И даже эпизод своеобразной разведки, которую он проводит в селе, где без священника остановилось естественное течение жизни, его общения с женщинами, может быть навеян знаменитым рассуждением Заточника о «злых женах» и о женитьбе на богатой невесте.

Нефедов – это Заточник, оказавшийся в горниле гражданской войны. Освободившись, он пытается найти свое место в служении не «боярину», а идеальному господину – революции.

Современная исследовательница творчества Б. К. Зайцева и И. С. Шмелева не без оснований отмечает, что «средневековый канон – категория порождающая и для писателя XX в.»[19]. Действительно, для создателей «Преподобного Сергия Радонежского», «Афона», «Валаама» или «Богомолья» с их христианским мировоззрением близка и актуальна стародавняя жанровая традиция. На ее основе они воссоздают образ утраченной родины, «Святой Руси». Но верно ли данное положение применительно к представителям литературной метрополии? Так ли это в отношении творчества Толстого, по-своему лидировавшего среди советских писателей первой половины XX в. по числу обращений к письменным источникам прошлого? Отрицательный ответ очевиден («канон разбит вдребезги» – 10, 263).

В XX в. средневековая традиция явлена в разных формах. В одном случае – это художественная реставрация (литература зарубежья), в другом – реконструкция Древней Руси. Обе эти формы важны и показательны. Быть может, лишь рецепция «Слова о полку Игореве» не претерпела значительных изменений под влиянием идеологии. Не житие, поучение, сказание о чудотворных иконах или хождение, а исторический документ, летописное известие, автобиография выходят на первый план под пером писателей метрополии. Подтверждение тому – роман С. Бородина «Дмитрий Донской» (1940), ставший, пожалуй, единственным значимым обращением к фигуре Сергия Радонежского в довоенной исторической прозе. Образ подвижника тут всецело подчинен государственно-патриотической идее. Цитирование древних текстов тоже окрашено в светские тона («Александрия», былинные фрагменты). Вспомним, что даже знаменитая юбилейная речь В. О. Ключевского «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства» не переиздавалась у нас вплоть до конца 80-х гг.

Для Толстого первостепенное значение имела деловая письменность Московской Руси (послания, грамоты, актовый

материал) и тексты светского содержания. В позднем творчестве использование древнерусских источников приобрело более глубокий характер. Установки на соблюдение канона, оберегания «готового слова» в его произведениях не наблюдается. Писатель легко шел на интерпретацию документа: «В каждом историческом явлении надо брать нужное нам, опускать архаизм и извлекать то, что созвучно нашей эпохе» (10, 222). Этой формулой можно охарактеризовать и отношение писателя к источникам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тексты А. Н. Толстого цитируются по изд.: *Алексей Толстой*. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Том и страница указываются в скобках.

[2] См., напр.: Русская литература и фольклор (XI–XVIII вв.). Л., 1970; Русская литература и фольклор (первая половина XIX в.). Л., 1976; Русская литература и фольклор (вторая половина XIX в.). Л., 1982; Русская литература и фольклор (конец XIX в.). Л., 1987.

[3] *Моисеева Г. Н.* Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980.

[4] См., напр.: *Пашуто В. Т.* Средневековая Русь в советской художественной литературе // История СССР. 1963. №1; *Каргалов В. В.* Древняя Русь в советской художественной литературе. М., 1968; *Каргалов В. В.* Московская Русь в советской художественной литературе. М., 1971 и др.

[5] См. об этом: *Державина О. А.* Древняя Русь в русской литературе XIX века. (Сюжеты и образы древнерусской литературы в творчестве писателей XIX века.) М., 1990. С. 107–142.

[6] *Карамзин Н. М.* История Государства Российского. Книга третья. Тома IX, X, XI, XII. М., 1989. Т. IX. С. 259.

[7] Там же. Т. IX. С. 278.

[8] Там же. Т. IX. С. 280.

[9] *Майков А. Н.* Соч. в двух томах. Т. 1. М., 1984. С. 452.

[10] Цит. по: Родина. 1996. № 1. С. 109.

[11] Цит. по: Родина. 1990. № 9. С. 79.

[12] Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. вторая. М., 1989. С. 388.

[13] Отразительное писание о новоизобретенном пути самоубийственных смертей. Сообщение Хрисанфа Лопарева // Памятники древней письменности. Т. CVIII. СПб., 1895.

[14] См.: *Хализев В. Е.* Теория литературы. М., 1999. С. 165–167.

[15] См.: *Зарубин Н. Н.* Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932.

[16] Даниил Заточник и владимирское летописание конца XII в. // *Рыбаков Б. А.* Из истории культуры Древней Руси. Исследования и заметки. М., 1984. С. 140.

[17] См.: *Бирнбаум Х., Романчук Р.* Кем был загадочный Даниил Заточник? (К вопросу о культуре чтения в Древней Руси) // ТОДРЛ. Т. L. СПб., 1997. С. 576–602.

[18] Текст памятника цит. по изданию: ПЛДР. XII век. М., 1980. С. 389–399.

[19] *Пак Н. И.* Древнерусская культура в художественном мире Б. К. Зайцева. М.; Калуга, 2003. С. 176.